

Светлана Михеева



Отблески на камне

Светлана Михеева

Отблески на холме

Москва

«Воймега»

2014

УДК 821.161.1-1 Михеева
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
М69

Художник серии: Сергей Труханов

С. Михеева
М69 Отблески на холме. — М.: Воймега, 2014. — 84 с.

ISBN 978-5-7640-0151-7

Книга выпущена при поддержке
Министерства культуры и архивов Иркутской области,
а также системы «Город» — «Сиброн» (Иркутск).

© С. Михеева, текст, 2014
© С. Труханов, оформление, 2014
© «Воймега», 2014

Цветочные
КЛЮЧИ

* * *

Чёрной водой письменного стола,
Чёрной вдовой письменного угла
Вечер бродит, вечер горбат и крив.
Солнце фонарщиком щупает фонари.
Вишен пылающих сборщик, садовник чужих садов,
Вечер бродит, хмелен, болтлив, бордов.

Лёгкий, гибкий кто-то шуршит вокруг,
Не открывается и не берёт из рук.

На чердаке, похоже, с позавчера
Трутся в засаде бледные мусора.
Призраки машут им крыльями, пыль круша, —
Чья-то живёт и двигается душа
На чердаках, где, древен и голубин,
Мир достигает верхних своих глубин.

Ликом неясен, кто-то плаках, седох.
Кто-то лёгок, легче, чем птичий вдох.

Не поцелуй, чешуйка, вдавленная в смолу,
Робкий отрок, уснувший в своём углу,
Мог бы вдруг поддаться, открыться весь,
Обрести очертания или вес:
Верх покинет, телом дрожит во рву,
Где садовник лелеет свою траву.

И трава почувствует, горяча,
Нежность ладони и твёрдость его плеча.

Где-то на Арарат

1

Ночь качалась, мёрзлым мешком висела.
Было два, ромашкой луна созрела,
Сквозь трухлявый мешок проросло зерно.

— Этот сначала рвался нырнуть в окно...
Да было поздно — а в ночь нырять не хотелось,
Дороги не увидишь (не разглядишь
Расплющенного и пожилого тела).

Сколько может мучить такая тишь? —
Мыши прогрызли дырки, высыпалось зерно,
Видно красное, видно гнилое дно.

2

Можно лежать на окровавленном одеяле
Или висеть — и чего там в газетах насочиняли,
Навоображали, слушать,
Пяткой тихо в стену стуча.
Слушать: щекочут дожди, мыши шуршат в подвале,
И колымаги за стенкою горестно трандычат,
Развозя желтуху — заразу платков газетных,
Разнося гниение и лилейный покойный смрад.

Лучше согнуться где-нибудь на Арарат!

Вечер вскрылся чёрной чумной розеткой.
Дышат кулеры. Траурно лжёт экран.
Вот бы — точкой на грубой горной вершине!
Вот уже — к Магомету идёт гора,
Что же вы, отважные бандерлоги!..
...Пол расплзается рыжим гнилым бинтом,
Мир распадается — как А-ра-рат на слоги.

3

Было три. Озябнув, трещала рама,
Выеденная древоточцами до трухи.
Топчутся, подытоживают грехи,
Точно чулан набивают тряпьем и хламом.
Тянут, шипят, трясут — занимают рты.
Вздых коммунальной тягостной доброты:
— Как неудобно, обременительно и досадно...
— Я случайно заметила ещё в понедельник.
— Если бы никто не знал, не любил, — то ладно.
Но у него-то — с кем-то было!..
И в самом деле,
С ним лежала однажды, тёплая, как сбор урожая,
Как горбушка облака, вся бела.
Подавала ему борщи, и неумело ждала,
И потом скреблась о щётки щёк, уезжая.

Выползали горы, как противовес длине —
Тени, размякшей на выгнутых досках пола.
Было не то чтоб пусто, но как-то голо:
Голая тень, ноги босые, выглажено бельё.
Это услужливое воображение:
Вот кого-то накрыло горою,
А кого-то скоро зароят в неё.

Голодный гость могил, грызи
И ткань, и доски, и бумагу,
И плоть, и волосы, и кость...
И так, чтоб всякий прочий гость
Здесь не хотел ступить и шагу.
Создай пустоты и гнильё,
Пусть всё забудется моё.

4

Лучше сгинуть где-то на Арарат...

Тише — к Магомету идёт гора:
Двигается, будто на стук, всеблагою тенью,
Словно пятки голые пощекотать
Завернул то ли фокусник, то ли тать.
— Снимет его кто-нибудь или он так и будет летать?!

Что-то вроде соседки забегало, заворчало,
Кудлатое, точно ангелы в небеси.
У серафима в переднике можно бы попросить
Кофе покрепче или хотя бы чаю.
— Пусть пока... Спасибо, не стоило хлопотать...
Ну а чего бы ему, скажите, и не полетать?..

Никто не спал. И лестничные пролёты скрипели,
Будто скрипела обшивка на корабле,
Который тащил зоопарк к голубой Земле.
А может, не плыли. А может, они — летели?

День открылся грязной зудящей раной.
Да что ж им не спится!?
Висящий будто вспотел.
Утром здесь рыскает искристый холод ранний —
Лестницами и в полостях тёплых тел.
Этот шум усилится во сто крат —
Ветер дует где-то на Арарат.
Оставайся. Глупые двигай стулья,
Можешь птичку бедную покормить.
Здесь лет сто не разжигали камин.

Точно пчёлы розовые из улья —
Снег пошёл. Всё красно, а потом — бело.
Как бы к полдню с маковкой не замело.

Экскурсия

Корабля и писем с янтарной печатью
Ожидая, не спали три ночи.
Три ночи бродили, нюхали камни,
Ложились на берег костлявый —
Будто бы обнимались со смертью.
Не было писем.

Не было между дождей никого,
Между домов никого,
Кто бы развеял тусклую скуку дневную,
Сырую ночную тревогу.
Было невыносимо.

Дом дребезжал — вагонетки,
Точно уголь, везли разноцветный народ.
Площадь законченной О
Разлеглась посреди алфавита.
В гладкой древности О
Собрались, точно голуби, стайки машин.
Может, уехать отсюда?

В переулке застиранном,
С дырами окон, с пуговицами дверей,
То ли от скуки, то ли от холода,
То ли в пылу ожидания
Прислонились друг к другу да так и остались.
Ожидали теперь корабля с замиранием сердца,
Не ходили на берег, боялись — придёт.
Вдруг придёт?

Ждали теперь: как придёт, так бежать,
Не придёт, значит, здесь,
Обживая углы, оставляя машину
На площади возле музея, стать другими —
Иначе назваться, иначе смотреть, говорить...
Может, отсюда уехать?

Очерствели углы.
Засорились листвою канавки.
Бегало эхо по аркам.
Высыпались, как мелкие вести
Из газет, то дожди, то кусачий снежок.
Море одеревенело, стало ярче звучать.
И они пробуждались средь ночи:
Надо уехать.
Надо уехать! Уехать!

Но не уехали. И проросли.
Видите, там, где зелёное сходиться с тёмным,
Красные ямки? Это цветы расползлись по земле.
Больше нигде вы таких не найдёте.
Это, конечно, красиво.

Только вот жаль, что они не уехали,
Не затерялись: были бы вечно свободны.
Томим постоянством
Каждый обглоданный камень,
Каждая вечная дверь.
И корабль не пришёл.
Не было даже письма.
Здесь несметной вины захоронена вечная память.
Если хотите, пройдёте поближе, посмотрим.

Съеденное сердце

Прольётся ночь в недомоганье дня
И раскроит фонарными зрачками
Того, кого любила до меня.

Неведомое подойдёт к постели,
Вздохнёт — оно раскинется, как лес,
В горячих влажных впадинах на теле.

Скажи, откуда знаю я тебя?
День оспиной на золотом предплечье
Сосновой корабельной тишины
Дремал. Он был как глупый светлый шар,
В нём было пусто, он звучал то ветром,
То стрёкотом, а то сухим щелчком —
Так закрывают окна от жары
На узкую горячую щеколду.

Скажи, откуда помню я тебя?
Мы родом из каких-то древних дней?
Мы голос, разделившийся на два
Неполных и стремящихся к слиянию?
Лохматый плотный лес темнел, твердел,
Он воспалился весь, набух, отёк.
И растворили окна. Духота
Расслаивалась, память очищалась:
Прими воспоминание своё.

Прими, природа, память обо мне,
Не кости и не волосы, а память
В библиотечной мёртвой тишине.

Кто сдвинет книгу — тот почти уж я.
О, корешки, как замковые двери,
О, полки, неизвестные края.

Впусти меня, читающий, скорей.
Я расскажу тебе
Балладу прошлых дней,
Как трубадура в возрасте Христа
Сгубила неземная красота.

Как ласковое сердце тяжелело,
На голубой тарелочке адело.
Горели травы — мята, розмарин,
Тимьян, иссоп. А как отмыть потом
От едкой крови камень? Поварам,
Привычным к делу, становилось тошно.
И август по-разбойничьи свистал.

Цветы дрожали. Всюду ломкий свет
Разбрасывал намокшую солому,
Туман висел заразной простынёй.
Будыльями торчали злые тени
Предметов и обыденных вещей.
Другой смотрел. Я не скажу о нём
Ни слова, ни полслова. Пусть забудут
Как следует. Пусть намертво забудут.

Любимый, говори со мной водой,
Создавшей человеческое горло, —
Убитый, умирающий, седой.

Любимый, красной почвой говори,
Создавшей человеческое сердце,
И сквозь меня на смерть свою смотри.

Смотри, как ночь расставила силки
Улавливать застенчивых влюблённых
На звёздные слепые огоньки.
Скрипящие дуплистые дубы,
И папоротник, также ива и
Шальные одичалые кусты
Из-за стены, где розою когда-то
Стелились и ползли, ещё трава —
Свидетели готовы рассказать.
Доверимся. И выслушаем всех.

Начни, стена. Вы, розы, продолжайте...

* * *

Будто бы от чужого сердца досталася полнота.
Будто бы умер кто-то, сердца всего не растраты...
Кто ты такая, будто бы вся не та,
Переменя причёски и надевая платья?

Кто ты, в которую кто-то ещё влюблён —
То ли юноша, то ли горящий клён
Осенью в день октябрьский, когда светало?
Будто в купель, тебя опускало в сон.
Воображаю, как осторожно он,
Чтоб на тебя смотреть, откидывал одеяло.

Кто твои руки охрою покрывал?
Кто для тебя оковы свои ковал?
Это была зима, воду ковала стужа.
Кто приходил, смотрел и не узнавал? —
Может, он станет добрым и скучным мужем?

Тени хотят, чтоб я и за них жила,
Я бы жила, да очень уж ночь мала.
Может, он станет в доме моём порогом,
Может, он станет ножкою от стола —
Всякой нуждой, желаньем, неослабим.
Кем бы ни стал, а где он, сердцем вторым любим?

Стул из девяти деревьев

Ежели за время, что пройдёт от дня
святой Люции до рождественского
сочельника, из девяти деревьев —
липа, берёза, орешник, верба, ольха,
бук, ель, терновник, клён — сделать
стул, каждый день работая понемно-
гу, да взять его тайком на заутреню,
да сесть на него, — увидишь то, что
скрыто от других: женщин, которые
преклоняют колена, повернувшись
спиной к алтарю. Это и есть ведьмы...

Кому ты глаза посылала, Люция,
На белой тарелке, на чёрной тарелке?
Изъятие части уверило смерть,
Что целая женщина — это ошибка,
Её существо абсолютно, но зыбко.
А лучше бы прочное что-то иметь.

Деревья качались в саду золотистом.
Люция качалась на синих качелях
До поздней багровой и твёрдой зари.
Ей были невидимы звери двуноги,
Ей были невидимы птицы двуруки,
Но видимо большее что-то внутри.

Сидела за ужином молча и прямо
На стуле, в котором сплотились деревья,
Растущие в ближних лесах и садах.
И тот, что от девы уселся налево,
Тому, что уселся от девы направо,
Сказал, заплетаясь в роскошных усах:

— Кого ты всегда отвергала, Люция?
Сцепились, как руки в последнем пожатье,
Кусты златогривые. Осень спала,
Как есть, в похоронном торжественном платье.
И старая женщина в мятом халате
Остатки еды убрала со стола.

А тот, что направо от девы, ответил
(Люция тихонько на стуле качалась,
Сиреневым пальцем касаясь стекла):
— Мне снилось, что видели малые дети —
Меж ив, раздвигая зелёные плети,
Над озером белым на стуле плыла.

Плыла и мерцала нездешним свеченьем?
А мать выставляла корзинку с печеньем
И чайник железный в середину стола.
И стул, состоящий из разных кусочков,
Скрипел будто хором глухих голосочков:
— Девица безглаза, но всё же цела.

Я знаю, как женщины молятся чуду,
Лицом обратившись к темнеющим окнам,
Не ведая боли, не ведая зла.
Но их стерегут и встречают повсюду
То правый, несущий еду и посуду,
То левый, чья тень не темна, а бела.

То Бог поправляет смешные подтяжки.
То смерть протирает сухие костяшки,
Представив, как люди сдаются грехам.
Но женщин не страх, а природа питала.
Девица, как голубь, над бездной летала,
Мешая движеньем своим рыбакам.

И сонные лодки клевали носами,
Младенцы сопели в своих колыбелях,
Зефиры устроились в длинных деревьях,
На тёплые травы сошла тишина,
И, над заводскими блестя корпусами,
Фонариком бледным в бессонных борделях,
Костром бесприютным на нищих кочевьях
Во славу Господню всходила луна.

Вальс

Связки писем и книг — всё увяло.
И диван, что терпел расставанья,
Жёлтой кожицей, как переспелая груша,
Треснул.

Это сердце квартиры —
У зеркала в тёмном углу
Дальней комнаты. Здесь она умирала —
Много раз и однажды,
Единственный радостный раз.
И потом фортепьяно ночами играло
И жильцы обмирали от лёгких, но твёрдых шагов —
Вдруг зайдёт! Но никто никогда её так и не видел.

Цветочные ключи

Июнь в золотых доспехах,
Август в медных доспехах
И голый, как бог, сентябрь.
Я тебя не увижу старым.
Мы вместе растём и зреем
И на языке растений
Звучим как зерно к зерну.

Пристроится дом-прореха
В тяжёлой тени ореха.
В надёжной тени дубравы
Укроется лучший день,
Который вот-вот случится.
Калитка скрипит, дичится.
Раскроется тёмной птицей
Акации сладкой тень.

Откроется, прям и гладок,
Великий земной порядок:
Волшебная ипомея, венерины башмачки,
Никандры пустой чехольчик,
Лиловые бодряки,
Тоскующий колокольчик,
И мальвы, и ноготки.

Вблизи — и грубей и ближе,
Всё ниже к цветам и ниже.
Не ложь и не лихорадка,
Неясный цветок лесной.

Не будет уже ни горько,
Не будет уже ни сладко,
А будет темно и тихо,
И ты убежишь со мной.

Ждущее

1

Не родина, а голые поля —
Спокойная и лёгкая земля,
Такая, как голландская картина:
Она глядит из тёмного зрачка
На овощи, на кружку молока,
Сквозь мужа — на мужающего сына.

Цветная жертва детского сачка,
Последняя осенняя добыча,
Над нею светлым бантиком плывёт.
И поселковый выпивший народ,
Собравшись, топчет волю золотую,
Осинами освистанный, поёт,
Ему заря заглядывает в рот.

А темнота на темечко подует
И сладкое посеет забытьё.
И всякому под чарами её,
Размытыми действительность до дрожи,
До глупых и весёлых мотыльков,
Холодных, словно тоненькая сталь
У горлышка, — и всякому казалось,
Что нет неправды больше на земле,
А есть одна уверенная правда:
Что видит глаз, то — есть. Другого — нет.

Где радость заблуждения легка,
Спокойствием густого молока

Раскормлена, там праздничная воля
Настойчиво является во всём:
Ничтожное становится прекрасным,
Как шарик надувается и вот —
Взлетает, а не то возьми да лопни.
Терзает ребятня велосипед,
У одного отклеилась подошва,
И он шуршит, как будто палый лист;
У тёти Лены, радостной доярки,
Спина не разгибается уже,
Сама она на дряхлую корову
Похожа, а её красивый сын,
С кудрями, как на палехе (и кульгей,
Краснеющей, как выпьет, — вместо правой,
А он и левой может хоть кого),
Копает огород и валит лес.
Его невеста замужем за Петькой.
Но пусть живут, хоть и убить готов.

Но пусть живут... И так они живут.
Здесь ничего — полгода. Только пляшут
Морозные чугунные кусты.
И волос речки тоненько скрипит
Под гребешком мороза. И коровы
Мычат на тётиленино тепло.

Вокруг, отдавшись смутной красоте,
Гуляют запоздавшие не те —
С другой картины праздные гуляки,
Глупцы, и выпивохи, и кривляки.
Я — с ними. Значит, родина, прими
Такую песню с долей снисхожденья,
Недейственны любые рассужденье
С детьми и простодушными людьми.

Нет человека, есть лицо и соль
Мужского пота, радость пребывания.
Земля ворчит, вздымается и ждёт —
Озимое её внутри обнимет,
А человек его снаружи примет
И вглубь неё ногами прорастёт.

Она себе лежит и ждёт, когда
На ней вспасутся дикие стада
Тяжёлых туч — молочных и сердитых,
Бродячих, будто сами по себе.
Пастух тяжёлым сном заиндевел,
Ему напела речка чёрт-те что —
И он раскис, уже совсем старик.
Уже ему земля ласкает пятки.
Как Одиссей, он столько лет скитался,
Но не нашёл пристойного угла.
Весной его старуха умерла —
Морщинистой и наглой приживалкой.
Своих детей природа не дала.

Вот он: у камня чёрного прилип,
Столетний усыхающий полип,
Из своего посёлка не уходит —
К родному брату или же к сестре,
Что поселилась справа на горе.
Смешной! На этом свете места много! —
Односельчанам жалко старика.
Но эта жалость слишком глубока,
Чтоб приютить. Она всегда — о чуде,
А чуду, ясно, не до пустяка.
Копаются в себе, как в огороде,
Волнуются незнамо отчего,
Ведь — всё путем и не отчего вроде...

А родина не ропщет на судьбу
И в сахарном покоится гробу,
Как спящая, как ждущая, как образ —
Жужжащий хлеб и августовский мак,
Почти что осязаемый, почти —
Дотронуться, но луговая моль
Его тотчас до основания сточит.
Голландцы простодушны и темны.
В них слабенький огрызок луны
Живёт-живёт и умирать не хочет.

У нас не так. Будь всем, чем я могла
Безбедно продержаться до тепла:
Конфеткою, горячей позолотой,
Сусальным, как неведомая мать...
Но выгрызет ноябрьская сухота,
Придётся неизбежно умирать.

Мы здесь — цветы, не малые голландцы.

Где нежилое тело говорит,
Вот здесь для нас гнетущая чужбина —
Апофеозом частных ностальгий.
Мы долго ищем этот переход
Из смерти в жизнь, ложась и умирая,
Подозревая дырочку в двери.
Ничто для нас закончиться не в силах:
Бессмертники на дедовских могилах
И кости чужедревные внутри.

И хоть тебе тринадцать, хоть под сто,
Всё чувствуешь: обильно, да не то —
Осенний сбор большого урожая.
Хотя, конечно, родина щедра,
Но поляя до самого нутра.

Хоть масло бьёт, хлеба свои катает.
Однажды постучится — и пора.

3

Не ты ль меня вот так чудесно ждал,
Как родина, заснувшая на зиму?
Безмысленно, по-детски, навсегда.
Ждал, предавая. Ждал — не выпускал
Из нашей ненавистной конуры,
Единственный надёжный дознаватель:
Кому ещё довериться могу?

В семейном заколдованном кругу,
Когда привычка старше недоверья
И двери примиряюще скрипят,
Вся лжа сидит, как ржавчина на ручке
Дверной. И сразу даже не заметишь,
Испачкавшись. А и заметив сразу,
Не разберёшь. И вытрешь и пойдёшь...

Пока ещё сентябрьской тёплой грудью
Питается природа. И ещё
Вокруг чудес рассыпано — гребни
Лопатую поширше и покрепче.
Раскачивая лодочки дворов,
Набитые подводной шелухой,
Рыбачит ветер, парусами правит.
Рычат гардины, рвётся органза.
Для сухопутных крыс — кошмар! потоп!
Выдавливает тонкие окошки
И, кажется, с собою унесёт.

И лучше пусть несёт, чем здесь болеть!
Во мне не больше суши, чем на треть,
В тебе её и четверти не будет.
И так, соединившись в океан,
Стоим на расстоянье дальних стран,
Далекие и преданные люди.

Ты думаешь: в тебе такая тьма.
Я думаю: в тебе такая тьма.
Мы думаем: земля всего темнее,
Какая в ней уродливая тьма!
И лиственница справа на горе,
Как пальма африканская, раскрыта
На фоне догорающих небес,
Согласная, гудит: какая тьма!

Железный век в распахнутом окне:
Всё цело, всё бесцельно, всё молчит.
Сквозь хвою и обломки чёрных пальцев,
Ломающих небесный мандарин,
Просвечивает нож из перламутра.
Им вскроет дом настойчивое утро,
Кромешный дом с бродягами внутри.

Шагнёшь, как бог, в объятья пустоты
И растеряешь ясные черты —
То человек, то краешек озноба.
И я шагну. Теперь уже пора.
Зима свои разводит колера.
На родине морозные ветра —
Застекленеем радостные оба.

Таня

Я думать не могла на этом языке,
Читала, чтобы в этом утвердиться.
Когда б не видела: Москву на уголке
Глодала добела предельная больница.

И Таня босиком сюда пришла одна.
В соплях жасминовых поперх зелёной шубы.
Здесь сторожил мужик, таинственный и грубый,
А будочка к ногам его прикреплена.

Он шурил белый глаз и тьякал в пустоту.
Никто на этот взгляд тупой не поддавался.
Один смотрел в себя. Ещё один — смеялся.
А в дверь, пока один у двери облегался,
Вплывало облако, подобное глисту.

Весна всего тучней в отечественном сне,
В дурдоме праведном, на заячьей луне.
Внутри — в учрежденье государства —
Никто не рассуждает о цене,
А назначают нужные лекарства.

Кровать, довольно крупный богомол,
Раздвинула железные коленца.
В окне сияющем темнеет экзистенца:
Не попадайся нам, ужо тебя сгноим.
Берёзы мрачные развесили свои
Чудовищные полотенца.

И доктор, полный сил, предмет для вождельня,
Обходит женское, мужское отделенья.
Здесь нет юродивых, всё самки и самцы.
И колет медсестра тугие кострецы.

В приёмной демоны буравят глазом стены,
Они в своём аду, пока они надменны.
Но их перемещают в общий ад:
Родные их одежды забирают,
И демоны как будто умирают
И просятся назад.

«А тапочки?» — вопрос для конфидента.
В глазах у Тани сон развратных дульциней,
Лекарство злое думает о ней.
Она бледна, как свадебная лента.

«Халат, зубную пасту и тетрадь...»
А почитать? А ей нельзя читать.
Ей лучше пребывать в реальном мире,
Где будет аду Таню не достать.

Ну, всё. И мы пошли, балет дивертисмента,
Стесняясь, точно булочку украв.
Чем мимолётней вещь, тем больше видит прав
Существовать как торжество момента.
И как её назвать, чудовищную статью,
Расколотую надвое волненьем?
Зачем ей тапочки? Ей надобно летать,
Закончив жизнь свободным прилуненьем.

Ветреный вечер на террасе

Иногда поэты дремлют,
В тихих пледах притаюсь,
Непогода моет землю,
Пенит радостную грязь.
Вечер в бездну очи пялит:
До чего ж она пуста!
Насекомые завяли,
Дремлют в люлочке листа.

Умашённый маслом юга,
Воет берег кочевой,
Населённый то ли вьюгой,
То ли шумной татарвой.
На горячих белых стенах,
Словно взяли Киев-град,
Улыбался тонкостенный,
Краснотелый виноград.

Взгляд забрасывал, как невод,
Длинноглазый караим.
Это туловище слева,
Может, было чем моим.
Может, я когда гостила
В этой самой чайхане.
Может, я к тебе спустилась
Виноградом по стене

На затейливый орнамент,
Что не выцвел до сих пор.
Кто развеял между нами
Тот давнишний разговор?

Робко трогал руки эти
И рассеял робкий смех.
Спи, не бойся, это ветер
Треплет дерево орех.

Африка

Весна существует, презренному быту служа:
Распаты рамы, у Януса пухлые щёки,
И время, прекрасной Венерой колени разжав,
Рождает детей кривоногих и невысоких.
Я страстно желаю того, что способно гореть, —
Бумага и охра, свирепые чёрные лица, —
Когда безнадёжное мирно не хочет стареть,
Оно на диете и бог у него — чечевица.
Во славу любви одичавшее пламя снуёт,
Стремится к воде, чтобы в ней навсегда завершиться:
До Африки плыть, с этой Африкой, может быть, слиться.
Проснувшись в поту и надевши сухое бельё,
Пойти по квартире, скользнуть под неясный орнамент...
Ты — рыба, и брошен на палубы тёмный пергамент
На судне свободном в кипящей среде водяной,
Где мальчик прохладный её подавился слюной,
В объятьях саркомы, подвластный весёлому шприцу.
Но бог созревания вдыхает цветную корицу
И в сумерках дрябнет, распавшись на фиолет...
...Средь зарослей жадных тоскуешь,
Опасно не спится,
Как будто подкралась из Африки грозная львица.
Как будто бы в Африке тоже
Спасения нет.

Крымские
СТИХИ

В сумерках

Даже похожее не похоже,
Точно надета другая кожа.
Кто мы, извечные близнецы?
Тот — погибающий, этот — ждущий,
Свет непроявленный, звук грядущий.
Крепче выучивай, твёрже рцы:
Да упасётесь от разделенья,
Части неведомого творенья,
Вместе, слитно, всегда, везде...
Хлопая огненным круглым глазом,
Солнце божественным водолазом
Прячет тело в морской воде.
Сморщены тёмного винограда
Щёки. Дрожат животы террас
В сумраке. Не допусти разлада
Ты, кто безжалостно любит нас.

Яшмы, покрыты волной, красны.
А с подветренной стороны
Громоздятся под знаком ветра
Безголовые плясуны,
Дети неплодородных склонов,
Беспощадные горбуны,
Взвод охраны береговой.
Свет неприкаянный, звук истлевший,
Точно платьишко в кладовой,
Тонкий, вычурный, побелевший.
Свет неприкаянный, как война,
Мёртвым взором лаская женщин,
Их высушивает до дна,

Поднимая со дна лозу
На сладчайшую сабзу
Или на виноград полночный:
Это не женщина, это точно —
Тень, наливающаяся водой,
Горло, поющее безъязыко,
Незамолкающая музЫка
Между желанием и бедой.
Между кем-то и кем-то. Плоский
Берег движется в полутьме.
Слышу — хрупкие отголоски,
Вижу — отблески на холме.

Ночное купание

Ирине

Теряло цвет разбуженное море.
(Приобретало цвет разбуженное море.)
Купальщик розовый в нём шевелил ногой
(Тонул, вконец раскисший и нагой, —
Выныривал, до рёбер охлаждённый,
Как бок дельфиний, синий и тугой).

Раскрылись небеса. (Закрылись небеса.)
Бутылочного цвета полоса
(Нам непривычного, бутылочного цвета,
Как будто алкоголик смотрит внутрь
Муската «Карадаг», а там — ничто) распространилась,
Будто бы Ничто, последняя идея пустоты,
Предельная (не полый и не полный
Живот беременной, так, месяце на третьем).

Плыви, Ирина, мир ещё живой.
(Повсюду — ночь почти, останься тут,
На берегу. Мир — мёртв. Он спит. Ирина,
Он не проснётся, точно говорю.)
Купальщики обсохнут к октябрю,
Подставив небу каменные спины.
В сиянье светлых волн накапав атропина,
Щекочет ветер ночной пещерную ноздрю.

Наяды веселятся вплавь. Купальщик
В своём дремучем теле, посреди
Тягучего гранатового моря,
На их зады с восторгом смотрит вниз.

(Он просто переросток-купидон,
Сорвался с неба, смотрит на зады.
Послушаем скорей, как он боится,
Их щупая за скользкие тела.)
Вся отданная женственность цела,
Она не убывает — прибывает
От смутных ощущений пустоты.
Так и вино её претерпевает.
Так (в море чёрном) уплываешь ты.

Вечерняя песня

Алексею

Бог затих над тучным виноградом,
Полным разноцветного вина,
Меж овец прозрачных альборада
Пестрого татарина слышна.
От белёных стен исходит скука.
Профиль южный, полуостровной
На чужой подушке убаюкан
Чьей-то раздобревшею женой.
Носит между бёдер садик райский.
Глупый век, глаза свои раскрой:
Прячут фрукты мёд бахчисарайский
Под мохнатой, грубой кожурой,
Созревают в темноте трескучей.
Чередой завистливых цыган
Бродят звёзды с месяцем до кучи,
И горит, горит Альдебаран...

Гости

День наливался розовыми снами.
(В дверях скреблись пришедшие за нами
Подобья угасающих мужчин
И толстобровых женщин коренастых.
Как чувствуется юг. Хозяйствует жара
На крымской кухне. Высолом курчавым
Повисло облако.) День вылетал пчелой
Из улья. (Ядовитую иглой
Висела безмятежная жара,
Покусывая за руки с утра:
Хотелось написать, что здесь чудно,
Но это ложь, здесь страшно и темно.

Здесь страх большой физического тела,
Которое со скал ныряет вниз,
Когда того ни капли не хотело.
Здесь разум точно пьяная герла —
Кого-то в царстве сна подобрала
И тащит в розоватую пещеру
В усилиях простого ремесла.

И ужас источает.) Вьётся день,
Определённость, ясность унося,
Спокойствие своё — к надменным розам,
Меня одну с чужим соотнеся.

Губами цвета выкрашенной стали
Фальшивые старухи бормотали,
Губами золотого сентября.

И прятали отравленные фрукты,
Чурчхелу и молочные продукты
Под тряпками вблизи монастыря.
(Для девочки из ледяного рая.
И я страшилась этого не зря:
Огонь, текущий по горизонтали,
Сжигал и маяки, и якоря.)

Распухшие на солнце, золотые
Тела круглились в грязное окно.
И пялили свои глаза пустые.
В них всё однажды мне возвращено
(Откуда в нас, живущих еле-еле,
Мелодия, терзающая слух?):
В таком тяжёлом некрасивом теле
Такой свободный обитает дух.

Человек

Герману

Всё, что движется, но бездыханно —
Это море вокруг. Наяву.
Только кажется, Господи, странно,
Будто б я и доньше живу.

И бываю то malum, то amnis,
То простейшей судьбы человек,
Молча двигая глупые камни,
Прячась в тёплые шерсти овец,

Где-то ползая в пьяной канаве
И ютясь на грудях у матрон.
И всегда — сокрушаюсь о славе.
И как якорь — к тебе прикреплён.

И хожу добровольною жертвой,
Приставая к озябшим телам.
Рядом с мёртвым лежу полумёртвым,
Преломляя хлеба пополам.

Коридорами и погребамн
За одной горожанкой слежу,
Собирая немymi губамн
Смех, рассыпанный по этажу.

Айва

Полумёртвый золотой
Станет чёрной запятой.
Выжгут лёгкую траву,
Снимут жёлтую айву.

Сонной обернут бумагой.
В светлом праздничном гробу
Повезут — бу-бу, бу-бу —
Разноцветной колымагой.

Растрясут, разбередят,
А потом, как ядра, сложат
У побеленной стены.
И стоят, глядят, глядят
Под тяжёлой сонной ношей
Прочих радостей земных.

В этой маленькой луне
Зной остыл и вязко замер.
И она лежит, лежит,
Не старея, как гексаметр.

А потом она грустит
На заляпанном прилавке
Где-то в северной стране.
Раз по сто на дню кряхтит
Продавщица в безрукавке:
— Да, съедобная вполне...

Фото. Севастополь

Каме

Худой недобрый гость
В костюмчике военном,
Три дамочки.
Ещё — народ на катерах.
Она — горит в огне, она гниёт.
Нетленна, горя в огне, гния и рассыпаясь в прах,
Чужая в рамке дня,
Совсем иного света,
Но в комнатный вошла уютный обиход:
В себе качая прах
Последнего поэта,
Пускает чёрный дым
Зловещий пароход.

Наполнены холмы разбитою посудой
И камнем плачущим. Морской тяжёлый рок
Кладёт покойников на бронзовое блюдо,
Теченьем заполняет кровоток.

Куда оно ползёт? Очнёшься — поздно, поздно! —
В проулках рахитичных и кривых.
Вдали не для тебя над пустотою — звёзды
И бульканье французских часовых.

Нахлынет, рокоча, мороз континентальный,
Погонит по степи задумчивых бурят.
Но лишь один исход — смертельный и фатальный:
Когда тебя навек целует виноград.

Когда ещё во снах под краешком батиста
Тихонько нежишься, боясь спугнуть уют.
А в горлышке уже — ни выдоха, ни свиста:
Как светлое вино, свинец горячий льют.

Въезжая в пустоту в товарняке сварливым,
Над ней античный видишь силуэт.
Мертвецкой тишиной летает терпеливо
Над прежнею землёй исчезнувший поэт:

Мол, там, среди орды воинственных татарок,
С кровавою наклейкой на виске,
Прими последний мой немислимый подарок,
В нём розы говорят на русском языке.

Сентябрь

Алексею

Костлявый ад, производящий сок, —
Слепые лозы,
Виноград острижен.
Тяжёлым басом монастырь поёт.
Травы высокий голос недвижим.
Травинки гаснут.
Их убило солнце.
Оно же почву бедную убьёт.

От лестницы исходит испаренье
всех мыслимых и будущих времён.
Здесь жизни нет — в её прямом значенье.
И монастырь на славу укреплён.
Ничто не скучно так, как регулярный,
речитативный, плавный, гладкий стих,
Роскошный, прославляющий, солярный.
Монахи спят. Жара убила их.

Долина, где убран виноград

Максиму

Ближе к осени сушь надвигается на виноградники.
Против дымных табунщиков, против небесных табунщиков,
Головы задрав, стоим мы.
«Чего выстаиваете здесь? Зреет ваше вино...»

Я, как заря золотая, брожу посреди винограда.
День напролёт, прячусь, не видят меня.
И выхожу
Только вечерней зарёй.

«Надо чего? Зреет ваше вино...»

Зреет, зреет, наше вино.
Зреет вино.

Привиденье в Коктебеле

Дому

...Пусти меня, я день бездомный,
Я здесь такой же, как и ты, —
Неясный, тонкий, полутёмный.

В раю скрипучем я хожу,
Растенья лижут пятки,
И колокольчики в тишайшем настроении
Звенят, звенят о чашечки колен.

Но я оттуда убежал. Я плыл
Аллеями.
Поживой был аллеям,
Прожорливым аллеям одичавшим.
Как страшно было посреди аллей.

И вот мой дом, по-прежнему пустой,
Наполнен то поэтами, а то
Смешными проходимцами навроде
Глухого к слову Тэ, и эС, и эМ...
Скрипучий дом, а ну его совсем!

...Пущу тебя, я день бездомный,
Я здесь такая, как и ты, —
Молчащий, трогательный, тёмный.

Мы поднялись на верх холма.
Там разлеглась могила.
Туда художники и стайки сумасшедших
Ползут, дыша, совета попросить.

Но я туда не стала подниматься.
А посидела в доме на веранде.
Но никого не дождалась. Хотя
Заглядывали Тэ, и эС, и эМ.
И даже Гэ. А ну его совсем!

И вправо, у аллей, платаны и заборы,
Сцепившиеся в схватке, разнялись
И посмотрели на меня с сомнением.
Ворочалась внизу морская слизь.
Но чё-то привидение мелькнуло,
Широкое, как грифово крыло.
Железную калиточку боднуло
И улыбнулось тяжело.

Женщины на пляже

Ирине Ермаковой

Неясная медуза Вероника
Волнуется, к перилам прислонясь.
Внизу, под шатким пирсом, хоронясь,
Болтается, безглаза и безлика,
Морская рыба с мальчиком внутри —
Иначе кто пускает пузыри?

На берегу античная могила,
Пуста, как сонный гид-экскурсовод.
Иль скотовод, или овощевод...
Медуза руку в воду опустила,
Разбила кость тяжёлая волна —
И вот! — как будто сломана она!

Глядит: вот эта девочку носила,
У тёмненькой возникнут сыновья...
Средь пёстрого и мокрого бабья
Вползла на пляж, с неистовою силой
Царапая песок, ахейская ладья,

Борт одноглазый лодки полудикой,
Полипами заросшей, черноносой,
С волной кровавой понижу. Гребцы
Сидят, как будто мухи в янтаре,
Так замерев, как их застала буря
До летоисчисления ещё.

Накатывает яростно вода.
Омытое сейчас же оживает.
Шевелится песок, впуская лодку
Всё глубже на берег.

Срываются, как груши,
Глухие призраки в
Туниках сладострастных
И мимо проплывают в никуда.

Их ловят женщины
Махровым полотенцем.
Как бабочек в завистливую сетку.

Лопаткой детской брошено оружие
В песок среди купальников и платья.

На груди золотистой Вероники
Ложится солнце огненным младенцем.

Она сейчас почти кинозвезда.

Тысячелетья пойманы сачком,
Тысячелетья женскими ногами,
И даже некрасивыми совсем,
Потоптаны. С востока непогода
Идёт. Должно быть, боги недовольны,
Должно быть, дождь зарядит на неделю —
Уничтожать позорные следы.

И впрямь, зачем такое унижение
В пустынном море,
На культурном пляже
Среди шезлонгов брошенная медь
Лежит и освещает вечный сумрак:
Как будто бы пустынную руину,
Великую аттическую глину,
Рок древнегреческий, величие и смерть.

Воспоминания о севере

Лицо красивое незрело. Оно — артериальный сбой,
Хоть астры в синей колыбели уже цветут между собой.
Хоть роща, золото бросая, уже сверкает нищетой,
Хоть осень вся уже раскрылась ужасной женщиной пустой.

Ничто в нём не возобновимо, оно сникает, как цветок,
Глядящий в холоде ранимо на воскресающий восток,
На мёртвый полдень, весь в монетах, на них не купишь ничего,
А только это, только это обещанное торжество:

Всё в белом, как покойник лютый, ползёт от кладбища домой —
И многим людям почему-то такое чудится зимой;
Поётся этой сладкой песней, звеня погибшим деревцом,
Что смерть как обморок прелестна с твоим негаснущим лицом.

Путешествия

Песня в дороге

1

Грустно зимы белокрылое начало,
Да, товарищ мой, да, товарищ мой.
Ну-ка, затынем песню устало,
Скучно ни с чем возвращаться домой.

Едем, дорогу запоминая —
Белая тяжесть, почва иная...
Да, товарищ мой, да, товарищ мой.
Что на ней вырастет? Вырастет ясень,
Вырастет ясень вниз головой.

Вырастет ясень вниз головой,
Ветви раскинет он под землёй.
Ветви раскинет он под землёй,
Станем тогда мы подземной листвою.

Станем качаться под крик журавлиный,
Между собою равны.
Грустно ложатся светлые долины
Спать до весны.

2

Грустно зимы белокрылое начало.
Мы в зелёном поле. Мы в зелёном поле...
Где же поля, что зелены? Где же кузнечики августа?
Всё осунулось, исхудали былинки.

Снег, как парадный доспех,
Каменистую прячет дорогу.
Вверх по реке тянется наш караван.
Гривы костров, пепелища стоянок —
След наш сейчас же исчезнет.
Где же поля, что зелены? Где же кузнечики августа?

3

Нету печальней робкого снега,
Что похож на облако, что похож на облако.
Не идём ли уже мы по небу, норы и червоточины
За собой оставляя на гладкой дороге?
Едем, дорогу запоминая.
«Белая тяжесть, почва иная.
Да, товарищ мой, да, товарищ мой..» —
Шепчет железными листьями осень,
Вросший в пустыню вниз головой.

Перевод

Ни берега, золотые от старости,
Ни поблёкшие вербы
Не скроют правды, как бы она ни была горька.
И потому, не желая любви наносить ущерба,
Переводить должны носители языка.

Воды чернеют, переливаясь гласно.
Погружена в зиянье
Долгая, тонкая и прямая, как смерть, река.
И потому на долгие расстоянья
Переводить должны носители языка.

Зимы грядут.
Берега притаились. Хриплые травы
Стали не выше птичьего хохолка.
Если желаешь Его нестерпимой Славы,
То
Переводить должны носители языка.

Если случится придти к Нему
С пустыми руками
И не возвратишься — жизнь бессовестно коротка,
Скажешь: я счастлив был под этими облаками,
Но
Переводить должны носители языка.

В школу

Разливался кислый голосишко.
Что, дрожишь, сходящее во ад?
Был одет, позавтракан малышка,
Крепко обнят и поцеловат.

Мама, мама, мне ботинки дают,
Провисают лямки рюкзака.
Вдруг меня на полочке оставят
Красного живого уголка?

Всё давило, будто бы давилка
Сок пускала солнечный, живой.
О перила маленький курилка
Ударялся тонкой головой.

Тятя, тятя, наши сети слепо
С тиной зачерпнули мертвеца.
На меня из пыточной свирепо
Улыбалась точка лица.

Из доски зелёной, словно тина,
Зверь выходит тёмный и морской.
А в столовой — мрак и паутина
С длинной беззастенчивой рукой.

Можно в школу не ходить сегодня?
Можно дома буквы изучать?
Но сочтется дым из преисподней,
Но молчит застенчивая мать.

Будто ангел маленький повеял
Крылышком из форточки окна.
Просыпалась, телом розовея,
Необыкновенная страна.

Просыпалась с чувством изумленья,
Шлёпала на кухню босиком
И давала детям наставленья
Заводским прокуренным баском:

— Всякие надежды утолимы,
Не скули, не бойся, не проси.
Знание и сила — неделимы.
Всё, иди, Господь тебя спаси.

По степи

Бурятская степь безотраднa.
И валенки мне велики.
Зачем начала, Ариадна,
Разматывать эти клубки?

Средь волчьей худеющей сыти
Тянул заблудившийся грек
Хлопчатобумажные нити
Твоих затаившихся рек.

Тянул и, от страха потея,
Тонул в запредельных снегах.
Светился огонь Прометея
На круглых коровьих рогах.

Божественной воли взыскаю,
Под липкий рыдающий снег,
Подобно античным статуям,
Разрушилась тьма человек.

Блуждай в лабиринте отметин,
Надежды пустые уйми,
Как злые свободные дети,
Что насмерть срослись с лошадьми.

Ни слова от них не добьёшься,
Преследуя частную цель.
А ты беспричинно смеёшься,
Нас не выпуская отсель.

А ты лабиринтообразно
Свою рассупонила нить.
Но этот предмет несуразно
В бескрайних степях применить.

Что толку от праздничной нитки,
Когда возмущённый простор
Сквозь хилое тело калитки
Врывается прямо на двор.

Тревожно жужжит сепаратор,
И хлопают стайки дверьми....
Здесь изобразит иллюстратор
Картину с иными людьми,

Примёрзшими к сёдлам и окнам:
Глядят, как зарвавшийся вор
Мохнатой метели волокна
Сложил на священный бугор.

Глядят на следы иноверца
По долгой, как степи, судьбе.
Их общее мирное сердце
Кочует само по себе.

Они никуда не поедут,
Покуда не сунут в гробок.
Ну разве что выпить к соседу...
И спрячь свой никчёмный клубок.

Прогулка

По утру, выходя из горла магазина,
Как песня или кровь, воображаю: тут
Построят минарет и крики муэдзина
Окрестные дома к молитве призовут.

Мечеть, волшебный слон, нерусский полумесяц,
Чудесный бивень свой поднявши к небесам,
Качается от их витиеватых песен.

И дальше, через два убогих переулка,
Возвысится ещё, достойна и крупна,
На небе голубом — как праздничная втулка,
Свободная от слез еврейская весна.

Чужой неясный дух и здесь как сусло бродит.
И мне велит стоять, любуясь простотой,
С которой ихний Бог на всё вокруг нисходит.

Чей он, какой страны, печаль какого рода?
Где тащат костыли посланники его?
Всё перед нами — шифр, и мы не знаем кода.

Чужое в нас всегда болит, как недостача.
Мы плакали. И там, за пеленою плача,
Держала тёмный холм солёная стена.
На нас косились дни, как сумрачный прохожий
На купол голубой, на камень темнокожий,
На улицу, что сном ещё искривлена.
Добавочный мазок отважной акварели:
О чёрных крылышках задумчивых своих
Тревожные бомжи на лавочках сомлели.

Добавочное «ах»: в черёмухах, в цвету
Заиндевел вокруг кривой и деревянный,
Отеческих веков впитавший глухоту.

Темнее городов на свете не бывало.
И житель вял, и гол, и слишком толстокож.
Льнёт к сумеркам пустым с упорством приживала.
Весною, как больной, томится меж черёмух,
Идёт в театр, кривит сухой суровый рот.
И, кажется, сейчас он пересилит дрёму.
Сейчас... сейчас... сейчас... дошаркает до дому.
Какой ни есть, ну, что ж, ну, всё-таки — народ.

Вокзал блестит, как ад, как солнце, словно в цирке
Зажгли светильники жонглёры и вруны.
На лавочке ночной беспечной пассажирке
Поют сквозь мор и глад волшебные слоны.

Я раньше здесь была и раньше их слышала.
Кривых кустов худые опахала
Роняли насекомых. Пыль вокруг
Зацеловала тонкие простенки
И на заре, развратной иждевенке,
Запахивала дряхлый архалук.

И далее неделю — темнота.
Всё чуждое с тобой заговорить готово.
Своё — молчит, не верит ни черта.

Своё — всё резеда да лебеда,
Спокойно ждёт, когда проснёшься снова.
Помолишься, не испытав стыда,
И станешь жить, и вдруг
Полюбишь с полуслова.

Камни

И весь бег их не имеет времени.
И рана жизни неизлечимо глубока.
Они скачут к морю, но корабли уплывают.
На берегу, потерянные, они ищут какого-либо пристанища,
Но берег гол, пуст. Ветер усиливается. Наступает прилив.
Они поют друг другу песни, полагая, что это отвлечёт
от грустных дум.

И так они поют и поют.
И пение их вскоре лишается человеческого языка.
И только природа может разобрать в нём смысл и назначение.
Мимо них проходят корабли, гуляют люди в городах,
выросших вокруг.
И что они поют? И кому это надо? Одна бы подобрала,
жалко ведь.
Но вдруг подумала: надо кормить. Да и оставила, как был.
Другая бы тоже взяла одного, да больно сиротлив,
а у неё своих трое.
И третья походила-походила, да и плюнула...

И так бы они оставались. И каменели бы в промозглом климате.
Но добрый корабельщик — нашёлся один! —
свистнул своим матросам,
И они втащили их на палубу и отвезли в далёкую страну,
Туда, где стоять приятнее, чем на холодном,
умеренных широт ветру..
Спасибо матросам, спасибо доброму корабельщику!
А кто они были? А что за корабль? А кто их знает,
всё это было давно...

А песня была примерно такой:

Кудрявые пустые облака
Веют над моим веком,
Плещутся бледными тряпками.
Я хотел стать героем.
Был храбр, но боялся храбрости,
Был честен, но бежал истины.
Полюби во мне, Боже, то, что есть,
И я отдам тебе своё сердце,
Которое ненавидит тебя.

А один поэт запомнил некоторые слова
И сложил свою песню. Переврал, конечно.
Вот она:

В прозрачном облаке висела
Зеленоватая луна —
Как голова, что снесена
Была за дело иль без дела.

Так больше не о чем грустить.
Пора неверную простить.

И пусть я был дурак и лжец,
Но на такой дурной конец
Рассчитывал едва ль.
Со мной до сей поры была
Дурная голова.

Но вот теперь возьми, творец,
Её на небо наконец.

Ветер, приносящий запахи

Чертёж вещей в последней темноте,
Озноб ветвей в смертельной тесноте
Предутренней заключены в туманы,
Щекочущие окна на заре.
Веранды заперты. Погружены лиманы
В воздушные пучины в ноябре.

Вокруг один лишь воздух громко дышит,
Как человек, поднявшийся на сто,
А то и больше каменных ступенек.
На то и воздух — наполнять и жечь
Вместилища чудовищных расцветок:
Авгуры, разрывающие птиц,
Гадатели по глянцевым лопаткам,
Поэты, созидающие плоть
Из воздуха, как радугу — Господь.

Притворный сад, и камни разлеглись,
Скажи мне имя, нынешняя жизнь:
Как называть того, кто на качелях
Вчера взлетал, потя и визжа,
Сегодня ходит, ножками дрожа,
А завтра навсегда заснёт в постели
Садового второго этажа?

Вокруг, кругом, в округе, в окруженье
Неизбавимо дышится легко —
Как человеку, сбросившему груз.
Куда, Сизиф, ты хочешь укатить
Свою судьбу? Оставь её в покое.

На юге нет ни мер, ни полумер,
Всё захлебнулось ветром в страшном сне:
Слепою говорящую собакой
С тобою Прозерпина говорит.
Любовный жар в ногах её горит.

Веранда запечатана. Последний
Закрит белёсый дом. Тугая ставня
Моллюском присосалась к нежной раме.
Там, в цеметерии, — ни воздуха, ни шума,
Ни мыши. Снова тихие туманы
Подкрались и стоят, как войска
Перед сраженьем. Через час иль раньше
Нагрянут ветры, воздух распахнётся,
Сойдут на землю люди, кони, боги,
Столпотворенье, говоренье, скачка.
Кочевник бьёт горячего коня,
В шатрах веселье, во дворцах — смятенье.
От лёгких ног любовниц молчаливых
Глухой ковыль заходится волненьем.
И римлянин носатый в белой тоге,
Не отрываясь, смотрит на меня.

Воображаемое путешествие в Италию и обратно

1

Расстанься наконец с землёю итальянской.
На солнечных харчах жиреющие дни
Протягивают долгие клешни,
И в спальне, будто в тёмной провиантской:
Окошек раскалённые ладони
Прикрыты шторами, и всё внутри полно —
Хлеба и рыбы, фрукты и вино
Кровавое в хрустальном купидоне.
От тучвы и тепла, от жёлтых стен да камня
Такое жаркое дыхание любви,
Что лучше уж меня усынови...

2

Твоё наследство я приму, не споря,
Эпоха вероломная моя.
Свободным детям — мачеха, пустых
Родных застенков праздничная фея:
Мы — как бы здесь, но всё же мы — не здесь,
А в светлых рыбомордых самолётах,
Несущих к югу сытость мертвецов.

Внутри своей погибели — иметь
Как можно больше — прочь летим одни,
Хотя летит нас двести человек.
В Италию, чтобы потом в сети
Её дворцы и вывески прославить:

Я здесь, стомиллиардный посетитель,
Я — проходил, я — трогал эти камни,
Я — так велик, что сам себе судья.

3

А воздух-то какой! Оливковые тени
Целуют красное. Довольно привидений
В огромном доме с башней посреди.
Прекрасный вид и голые фигуры,
Персей, владелец страшной головы,
Мужик в венке, притом довольно хмурый,
И Аполлон, и с мячиками львы.

И старина бывает безобразна.
Когда её, как хмель, вбираешь праздно,
Блуждая в туристическом поту,
Становишься свидетелем убийства.
Средь экскурсионного витийства
Так хочется прославить нищету.

4

Прославим голод — как бунтарский флаг
Над стаями чернеющих бродяг,
Крадущих пустоту внутри счастливых женщин
На лестницах, в сердцах календарей.
И, пасынкам распахнутых дверей,
Нам райский ключ как будто бы обещан
Взамен любой определимой вещи.
Ну где же он? Хватай его скорей!

Кто прячется от нас по ветхим переулкам?
Здесь больше тайны нет. Вы все видны насквозь.
Над головой всплывает наискось
Не облако, а розовая булка.

Воспитанникам вечных ноябрей,
Нам лжёт и турагент, и ласковый борей,
Но ты не обманись рекламой шарлатана.
Здесь нужно ползать на краю фонтана
Иссякшего, от голода гореть
И, до ветху изнашивая сердце,
С восторгом убивать единове́рца.
И только так и слышать, и смотреть.

Внутри сиреновой, как арка, Портинари
Жил крошечный, как угол, юный Данте,
Взрослел и стал как дом для этой арки.
До сокрушающей величины
Разросся, присоединив другие.
Из камня, и песка, и кирпича,
Из прочной, неуступчивой любви,
Из красок, наконец, из мелодрамы.
Как всякая великая любовь,
Слагалась тайна времени и места.

...Поехали, пожалуйста, домой.

5

Зелёный Медичи, Нептун бледнее мела,
И вся Флоренция к полудню онемела.
И покупатель флорентийских кож
К полудню так устанет, утомится,

Что голубь многочисленный дивится,
Как он на чёрта лысого похож.

Хотя бы снова переедем к морю.
Страна и так не слишком велика.
Здесь восхитительно. И с этим я не спорю.

Любой привыкший к мере беспредела:
Мгновенье — вот эпоха поседела,
Другое — вот эпоха умерла, —
В восторге от Европы постоянной.
Но по своей натуре окаянной
Ворует, обратившись обезьяной,
Серебряные ложки со стола.

6

Как дурочка, соседка восклицала:
«Прощай, Италии богатое зеркало!»
Ну что ж, и ты прощай, хрустальный мой стрелец,
Гостиничный амур, безвременный жилец.
Американский Бродский предпочёл
Перегнивать на острове покойных
В другой её равновеликой части.
И мы поедem к морю наконец.

7

А впереди разверзнется чужой
Огромный день кошмарной глубины.
В таких местах, где счёт всему утерян
И вперемешку статуи и люди

Теснятся на сутулых площадях,
Охватывает боль, и страх, и стыд:
А ты — всего-то глупенькое тельце,
Которое случайно появилось
В пределах этой сказочной главы.

Бессмертье должно смертью доказать.
Мой голод, ты способен сотворить
Такую грандиозную картину?
Такой же сонм и гул на площадях:
Чтоб тени разговаривали и
Толпились посмотреть, как будут вешать
На окнах благородных проходимцев?
Вместить их славно прожитую жизнь?

Флоренция на лёгкое похожа.
Зеваки переносят кислород.
Республика лежит и смотрит в небо,
Пока туристов собирает гид.
Карабкается тучный троглодит
В автобусы с энергией эфеба.

8

Венеция как будто безнадежна.
И в ней не счесть трагических пустот.
И кто здесь только не был, сдохнуть можно!

9

Европа — хорошо видать извне —
Сгорает в терракотовом огне.

Великий соотечественник здесь —
Один, второй, живой, а то и мёртвый
(Прикрученной дощечкой на стене).
Свободы нет, в который раз понятно,
Какой резон гулять туда-обратно?

А сверху всё и меньше, и видней,
С иллюзией расстанься, будь неловок.
Смешная фотография, над ней
Коротенький и ясный заголовок:
«И я тут был. И мне досталось счастья».
(Но ты меня скорее забери
Под облачные волдыри
В свои неумолимые ненастья.)

Италия *in vivo* умерла,
Во мне не привилась её лоза живая.
Но, книжные просторы обживая,
Всё раньше найдено. И — вива, марсала!

10

Теплом прельщаясь, в море золотом
Растёшь неутопаемым кустом.
Ворочаешь, предельно далека,
Вампирской красной ягодкой зрачка.
В средневековой каменной чашобе
Поникла розой каменной на гробе.
О, мы, космополиты до костей,
О, мы, фотографические люди,
Из мнимостей случайных состоясь,
И за любовь у нас вовек пребудет,

Полна иллюзий, лишена прелюдий,
Простая человеческая связь.

Не бремя путешественника, не
Голодное живое любопытство
И даже не зловещая нужда —
Унынье гонит из дому всегда,
А в нём — красноречивое бесстыдство:
Во мне грохочет мир необжитой,
Как человек угрюмый и пустой.

11

Вы видели Венецию зимой?
Она смеётся бледностью немой
И привиденьем повисает между
Дыханьем тёплым и небытиём.
И ветерком, как страшным остриём,
Вскрывает посетившего невежду.
Как холодно для тех, кто так телесен! —
Для фауны — широк, для духа — тесен.

12

Туманы застилают день и ночь
Бесплотный день и траурную ночь,
Аэропорт гниёт левиафаном
Внутри её пустого живота.
И прикрывают мокрые места
Кто зонтиком, кто целлофаном
Стоящие... Как падать в Рождество
Приятно снегу. Под рукою Данте.
Кто ж в этом мире не читал его?

Никто его, поверьте, не читал,
Как следовало бы читать. Поскольку
Неведомы ни ангелам слова,
Ни людям уж тем более — что он
Произносил сидящему напротив
И вряд ли ждал ответа. Сыновья
Потом искали рукопись, пока
Он не явился сам её раскрыть.

Мой Бог, что я хочу тебе сказать:
В тебе я обладаю лучшим даром.
Предназначение будет впереди:
Стать подлинником высшего искусства
Без всякой лжи, без смешанного чувства
На чьей-то засыпающей груди.

Воздвигнется тогда и гибкий виноград,
И глушь сосновая в пределах равноправных
Вдоль скоростью нагретых автострад.
И всякий город будет в нас смотреть,
Как мы глядимся в уличные бездны,
В испуге одиноко постареть.

И нас несут воздушные пути,
Их рыбы снов, их ангелы железны.
Но мы Тебя боимся не найти.

13

Как встану, посмотрю на ловкое объятие,
Которым тополь мой зажал в себе восток
И держит. Такова фигура воспритя.

В другом окне дрожит весенняя чашоба,
Крючками зацепляя небеса,
Подтягивая к сырости сугроба.

Здесь всё уже растёт под белым жирным слоем.
Топорщится, хоть не видать ещё
Ни волоска. А только солнце злое.

Здесь всё — из ничего. И ничего чудесней,
Чем снег, мертвящий глаз, вокруг меня лежит.
Я здесь сама прочней и бестелесней.

Влетает в полый дом частица божества:
Отрывистые бледные слова —
На улице беседуют старухи,
И возится в сугробе ребятня.
Вы, может быть, не слышите меня,
К невидимому по привычке глухи?

В неслышимом распространился Бог.
На евроазиатские пустыни
Сошед во дни начавшейся зимы,
Заметил нас, следил за нами так,
Как мать следит за маленьким ребёнком.
То шлёпая счастливою рукой,
То одобряя, южными ветрами
Приглаживая чубчик снеговой.

14

Пустых природ не терпит божество.
Трамваи возят снеговую старость,
И вот уже железные гробки

Грохочут вдоль по хладным, хладным рельсам.
Харонша принимает пятаки.

Она выходит к рельсу. Бледным жезлом
Сдвигает путь. И мы туда плывём.
Мы, полные усталой, белой крови.
Пред нами расстелился водоём.
Не знаешь ли, какое Провиденье
Для нас готовит лучшие силки?
Торчат дома, в них заполняют тени
Затейливые уголки.

Войду. И не тебя ли слышу я,
В молчанье пребывающим? То скрипом
Преобразится тусклое молчанье,
То развернётся языками лестниц,
То захрустит ватрушкой снеговой.

Подозревая в этом теле хлипком
Иные чудеса и содержанья,
Не только исполнение природы —
Распасться, сгинуть, умиротворить,
Подозревая: я — твоя улыбка,
Я — речевая грубая ошибка,
Желающая с Богом говорить.

15

Рождён светлейший день в пустынях грубых тел —
Так наступает каждая весна:
В проулках где-то, плавая в грязи,
Зародышем в околоплодной жиже,
Она потом выходит из ворот

Какого-нибудь тёплого домишки.
Раззявит свой большой зелёный рот
И так кричит, что выноси святых.

Какое-то великое ещё
Молчит, не разработав детских лёгких.
Но вот оно захочет говорить,
Оно сойдёт в неповторимый ад
И вознесётся к радости созвездий,
К Медведице, горящей в голове.
И нет сомненья, что и здесь, в глуши,
Оно себя почувствует бессмертным.

16

Что делается в маленьком углу?
Для домочадцев стало общим местом:
Гомункулус растёт и говорит.

17

Уныние рождает идиотов.
Сограждане обломки площадей
В архитектуру робко собирают.
Что говорят? По-моему, «долгой!»
Кричат. Пока не жгут кинотеатров,
Как граждане Афин... А из Афин
До итальянских куш подать рукой.

А здесь у нас февраль как шарфом душит,
Ветрами давит горла городов.
Россия мёрзнет. И в её пределах

Умеренность — весьма зловердный дух:
Умеренное кажется тлетворным,
На площадях умеренно шумят.
Немного покричат — и снова едут
Туда, где, будто газовое пламя,
Колблется морское вещество.
Там всё уже оформлено как надо.
Ты беззаботен, ты турист, ты бог.
Малюсенький, но всё же в пантеоне,
Определённо, всем достанет места.
Тебя любят. Стало быть, прощай.

2012

Странствие

Коротко странствие. День непомерно велик,
Ласков, бесчувствен, размашист, утончен, двулик.
Ласков, как слабость незрелого бледного сыра,
Словно любовник бесчувствен — он видит в окно
Гроб, катафалку, рыдающих. Мёртвое дно
Краткого мига и безразмерного мира.
Тихо ликует: тепло и ни капли не жалко!
Машут деревья, метут синеву дочиста.
Бездна доверчива и безнадёжно пуста.

Над головою хохочет всю раздевалка.
Хочет упасть и стыдливо накрыть — потолок.
Пьют виноградный, изъятый из ягоды сок
Два возвышения, два неразгаданных знака,
Гладкость пергамена, нежность упрямых костей,
Камни суставов. И судорогой вдоль стен —
Бездна, доверчива, ластится, точно собака.
Может, останемся — зреть, наливаясь, густеть?

Время земли наполняет земные кувшины.
Тесные женские розовые кувшины.
Вечность облобызает испариной лоб.
Чтобы вернуться, нельзя оставаться. И чтоб
Двигалось время и плыли между островами
Точно по списку (но скажем иными словами)
Дети героев, любимцы усталой судьбы,
Язвой и мором поверженный вянет рассудок,
Мы погибаем обычно в течении суток,
Предоставляя болезни губы и лбы.

Сладко вино, виноградные синие тени
Застывают на засыпающем теле.
Застывают излучины, впадины, переплетенья.
Тенью, незрелым младенцем, опухолью прячется и дрожит
В области сердца какое-то загустенье,
Вызывающее виденья и миражи.
Стены корябая, солью питая их шершавые животы,
Дети, вернитесь в логово матери-пустоты!
Песня странная слышится издалика,
Песня бродяги, лодки и дряхлого маяка:

Мачты наладим
И пустимся сквозь непогоды,
Как финикияне,
Прагматики и мореходы.
Мачты наладим...

Разума вязкий зрачок путает сны: где чей?
Здесь женщина, отдаваясь, поёт.
Здесь тянет сети рыбак — и поёт.
День распускает чёрным цветком.
День расползается сетью.
День непомерно велик. Мы приближаемся.
Странствие завершено.
Утром войдут и возьмут, вынесут, будут рыдать,
Скажут, умерли скоропостижно,
Вечная память любовникам,
Вечная слава любимым.
Жизнь коротка.

Содержание

Цветочные ключи

«Чёрной водой письменного стола...»	5
Где-то на Арарат	6
Экскурсия	10
Съеденное сердце	12
«Будто бы от чужого сердца досталась полнота...»	15
Стул из девяти деревьев	16
Вальс	19
Цветочные ключи	20
Ждущее	22
Таня	28
Ветренный вечер на террасе	30
Африка	32

Крымские стихи

В сумерках	35
Ночное купание	37
Вечерняя песня	39
Гости	40
Человек	42
Айва	43
Фото. Севастополь	44
Сентябрь	46
Долина, где убран виноград	47
Привиденье в Коктебеле	48
Женщины на пляже	50
Воспоминания о севере	52

Путешествия

Песня в дороге	55
Перевод	57
В школу	58
По степи	60
Прогулка	62
Камни	64
Ветер, приносящий запахи	66
Воображаемое путешествие в Италию и обратно	68
Странствие	80

Светлана Михеева. Отблески на холме

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор, технический редактор:

О. Тузова

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Джона Эткинсона Гримшоу «Женщина на дороге к сельскому дому»

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 23.12.2013.

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 5,25

Тираж 400 экз.

В стихах Светланы Михеевой есть здоровый и спокойный взгляд на мир, свободный от уныния или издёвки. Такой взгляд поэтам не очень свойственен, чаще прозаикам. Да и сами стихи сюжетны, почти в каждом прячется какой-то рассказ. Но это не «проза в стихах»; видовая принадлежность произведений не вызывает сомнения из-за их мелодической (не путать с музыкальной) природы, и любой сколь угодно конкретный сюжет как будто пляшет под её дудку. Стихи написаны естественным и свободным слогом, у них лёгкое дыхание. Там шатается какой-то примиряющий, похожий на осенний, воздух. И это не шум, это человек и его речь.

Михаил Айзенберг